

ОЛЬГА ЧЕРВИНСКАЯ, РОМАН ДЗЫК

Черновицкий национальный университет
имени Юрия Федьковича, Филологический факультет
Кафедра зарубежной литературы и теории литературы

ПАРАДИГМА «ДИТЯ» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

The Paradigm of “child” in F. Dostoyevsky’s Interpretation

The entire body of the literary works by Fyodor Dostoyevsky has been viewed from the point of view of the ontology of a child. The detailed analysis of this phenomenon gives the possibility to understand its nature, quintessence, specificity of the literary embodiment. It is the question of the actualization of the principles of the research experience. The supposed simplicity of the notion “a child” can be revealed in the ontological issue of “parents and children”, that brings to the symbolic definition of the phenomenon through the Biblical paradigm of the “grain”.

Keywords: Dostoyevsky, phenomenon of a child, interpretation, genre metamorphism, the Biblical paradigm of the “grain”

«Следовательно, должен быть феномен бытия, явление бытия, описываемое как таковое. <...> онтология будет описанием феномена бытия таким, каким он себя обнаруживает, то есть каким непосредственно является» (Сартр 2000, 23).

Ж.-П. Сартр

Творческая рефлексия Достоевского (Достоевский 1972–1990) в художественных интерпретациях образа ребенка – довольно обширное поле научных интересов. Тему, спровоцированную мощным творческим потенциалом классика, начали обсуждать еще в первые десятилетия после его смерти (Миллер 1886; Пользинский 1891; Янтарева 1895). Вопрос рассматривался в разных плоскостях: от освещения повседневного отношения самого писателя к детям, через изображение детских образов в произведениях и к восприятию самого автора и его произведений собственно детьми (Левитов 1956; Лоциц 1971; Михалков 1978; Одесский, Спивак 1991; Погорельцева

1991; Романенко 1970; Гржибкова 2000; Гржибкова 2006; Карякин 1971; Касаткина 2003; Кустовская 2007; Ляпина 2012; Михнюкевич 1994; Михнюкевич 2003; Павлова 2011; Парышева 2008; Парышева 2010; Перевезенцев 2001; Пушкарева 1998; Серденко 2007; Степанова 1988; Степанова 1989; Темирханова 2011; Тихомиров 2003; Фокин 2003; Шестакова 2008; Semionova 2006). Конечно, эти планы взаимообусловлены.

Среди исследований важнейших аспектов указанного проблемного направления интересно выглядит давняя концепция Р. Янтаревой о детских образах Достоевского как блестящих иллюстрациях болезни эпохи *fin de siècle* – психических расстройств с обособлением трех типов детей (нервные дети – Лиза Хохлакова, княжна Катя; униженные и оскорбленные – Нелли, Илюшечка, дети-феномены – Коля Красоткин, Маленький герой). Становление ребенка, в конце концов, исследовательница связывала с окружением и наследственностью (Янтарева 1895). Из исследователей советского периода за ней следует А. Гатицкий, сознательно акцентировавший исключительно на проблеме социального аспекта темы детства в творчестве писателя (Гатицкий 1978). Согласно концепции Ю. Карякина, в детских образах Достоевского следует видеть последнюю и решающую проверку всех авторских идей и теорий (Карякин 1989, 110). В. Пушкарева подтверждает этот аргумент, отмечая, что для Достоевского вообще нет ни одной важной мысли, которая не столкнулась бы как-то с темой детства, и даже эпизодический детский персонаж проясняет что-то очень важное для писателя (Пушкарева 1974, 42). Та же исследовательница отмечает, что дети для Достоевского всегда являются воплощением абсолютного и неоспоримого добра, но их сознание никогда не изображается самостоятельно, а всегда дается в дополнение ко взрослому (Пушкарева 1979, 172–173). Довольно четко и развернуто выглядит концепция Б. Тарасова, по которой целостный детский мир противопоставляется расколотому миру взрослых, позитивность героев измеряется степенью наличия в них детских черт (Тарасов 1983). В фундаментальных трудах Ю. Карякина и И. Волгина этой теме посвящены даже отдельные разделы (Карякин 1989; Волгин 1991).

Любая попытка тематически интерпретировать Достоевского ведет, однако, к искусственному сужению проблемы. Даже трансфузия одних и тех же иллюстративных цитат из одного исследовательского текста в другой не является весомым подтверждением истинности

близких между собой тезисов. К тому же, практически невозможно проверить истинность любого отдельного из них, опираясь на материал полного корпуса письменного наследия автора. Все упомянутые исследовательские темы, семантически стратифицированные, не дают оснований для радикальных возражений. В этом видится заслуга самого Достоевского, который, как харизматический автор, умел направлять ход мысли своих читателей, включая профессиональных исследователей, в соответствующее русло. Потому диалог с создателем *Братьев Карамазовых* никогда не будет закончен: Достоевский, по справедливой максиме М. Бахтина, «в плане своего религиозно-утопического мировоззрения» перенес диалог в вечность (Бахтин 2002, 280).

Сегодня, несомненно, наша тема требует осмысления в онтологической плоскости, требует перехода на другой уровень ее восприятия, нуждается в определении феномена ребенка как явления бытия. Таким образом, тезис Ж.-П. Сартра (Сартр 2000, 23), вынесенный в эпиграф, можно полагать ключевым. Тем более, что в настоящее время в изучении Достоевского этот вектор провозглашается одним из приоритетных, поскольку, цитируя К. Исупова, «в трудах Достоевского мы имеем дело с вопросами человеческого существования в Божьем мире, его авторская метафизика носит онтологический характер: человек предстоит Богу и миру как вопрос – ответу» (Исупов 2016, 8).

В исследованиях последних лет делается акцент на целостной природе мировоззрения Достоевского, на очевидности того, что у него и отдельные оценки, и вся система реагирования на события современности «содержат отнюдь не возрастной и вовсе не сословный характер» (Сараскина 2006, 279). К тому же надо учитывать динамику писательской рефлексии, генерирующую непрерывное обновление амбивалентной природы диалога автора (с собой и с действительностью) – философия отметила эту особенность художественного дискурса еще в XIX в. В соответствии с гегелевским концептом «сознания и его самовосприятия», берется за основу его тезис о «самокорректировке сознания», которая позволяет сознанию всегда быть истинным за счет обнаружения иллюзии и исправления ее последовательно от одного момента восприятия к другому – то есть от процесса до «я» и обратно, когда перефокусировка собственной рефлексии, возвращение сознания к самому себе меняет сущность истинного (несколько перефразируя современного исследователя

(Субботин 2006, 89)). Рефлексия – это не только некая способность автора или читателя, но и функциональный признак целостного текстуального пространства. Соответственно, речь идет о выразительном имманентном метаморфизме высказывания того или иного явления в аспекте онтологически определенной сути.

Итак, важно четко понимать, что в онтологическом аспекте перед нами стоит вопрос не столько о том, как может быть в целом проинтерпретирована парадигма ребенка по произведениям Ф. Достоевского, сколько в другом: на каких принципах она формируется, насколько она является или может быть устойчивой, то есть в чем ее онтологический статус.

Наше исследование выясняет именно природу данного факта, онтологический статус и формы его художественно интерпретируемых модификаций, поскольку сегодня даже в фундаментальных работах, посвященных антропологическим измерениям художественной философии Достоевского, именно о феноменологическом смысле статуса ребенка речь не идет (Подорога 2006). Феномен ребенка по Ф. Достоевскому рассматривается как манифестация, одно из проявлений бытия. Пропущенный сквозь авторское восприятие, он был развернуто представлен именно в своей онтологической сущности. Задача, по сути, состоит в описании феномена ребенка таким, каким он раскрывается в произведениях классика, в воспроизведении парадигмы, интерпретируемой в онтологическом значении.

Логично объяснять феномен ребенка в сопоставлении с феноменом взрослого человека (то есть в сравнительном ключе возрастных состояний). Но где у Ф. Достоевского положен предел в различии этих двух ипостасей: где у него заканчивается ребенок и начинается человек взрослый? Отсюда, возрастной критерий не может брать на себя решающую роль в уяснении онтологии феномена, поскольку речь идет не о какой-либо внешне устойчивой форме, а об имманентных качествах личности. Примером здесь может быть сквозная библейская парадигма «отцы и дети». В Священном Писании она не только проектирует идею мироздания от Отца на все Им сотворенное, но и перемещается в качестве значимого критерия в плоскость мироздания уже в собственных взаимоотношениях.

Кроме известной яркой притчи о блудном сыне (Лк.15:11–32), означенная парадигма также выступает, например, эсхатологическим симптомом: «Предаст же брат брата на смерть, и отец – детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их» (Мк.13:12–13), или

«Горе же беременным и питающим сосцами в те дни» (Лк.21:23). Более того, в библейском космосе способность генерировать приобретает даже «премудрость»: «И оправдана премудрость всеми чадами ее» (Лк.7:35). В этом качестве парадигма упраздняет любые временные критерии, поскольку дети остаются такими по отношению к своим родителям даже вопреки возрасту.

Тексты Достоевского содержат многочисленные примеры активного функционирования указанной парадигмы как основной. Скажем, отношения Неточки Незвановой со своим отцом (на самом деле, отчимом) полностью вписываются сюда: разочарование в отце разрушает целостность мироздания. Подобное и в *Подростке*. Трагические обстоятельства детства Аркадия Долгорукого (внебрачное происхождение; колебание между достойным не-отцом Макаром Долгоруким и недостойным отцом Андреем Версиловым; пылкая любовь к униженной судьбой матери) раскалывают душу этой неустойчивой натуры. Парадоксальным образом Аркадий Долгорукий, «взасос» (по его экспрессивному определению) любя своего отца, пытается отречься от него из-за ошибочной «мелочи» (ссылаясь на библейское: «дети от отцов уходят и свое гнездо основывают» (Достоевский 1975, 13, 131)).

В каждом из произведений Достоевского библейская парадигма «отцы – дети» приобретает свою специфику. В частности, она воплощается через ряд библейских притч в последнем, итоговом романе Достоевского *Братья Карамазовы*. Существенными являются отношения с родным отцом каждого из братьев. Достоевский указывает на трагическую неповторимость и почти противоположные последствия детских обид каждого из сыновей Карамазова. Другим примером может быть сиротство князя Мышкина, которое делает его скорее Божьим чадом, чем чьим-либо отпрыском, в соответствии с молитвой Господней «Отче наш...», где призыв к Богу звучит как обращение вечного ребенка к Отцу.

Этот тезис требует более широкого освещения, поскольку четко указывает на настоящие истоки писательского видения, связанные именно с онтологией христианской морали. В частности, отметим поэтологический «комплекс» библейского письма Ветхого и Нового Заветов, активно воспроизводимый и в рамках писательской сюжетной стратегии. Речь идет об устойчивом комплексе притч, связанных с родственными отношениями: между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, братьями и сестрами, свекровью

и невесткой, одинокими вдовами и их детьми и так далее. Особую значимость в аспекте феномена ребенка приобретают персонажи притч, непосредственно связанных с темой детства: в случае полной семьи знаковой фигурой в ней становится отец, при его отсутствии – вдова и производные от нее – «сын вдовы», «сырый» (см.: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях...» (Иак.1:27)). Аналогично следует относиться и к притчам о братских взаимоотношениях (например, о Каине и Авеле). Потенциал этих притч в контексте творчества Достоевского несомненно является решающим. Каждый из таких ключей открывает отдельную мощную тему, которую автор разрабатывает на максимальной глубине.

Побуждение к онтологической интерпретации феномена ребенка через библейскую призму особенно отчетливо проявляется именно в последние два года творчества писателя. Это мы наблюдаем в *Братьях Карамазовых*. В роман, как будто в семейный интерьер, читатель «входит» сквозь детскую комнату. На это указывает архитектоника первой части (*Книга первая. История одной семейки: I. Федор Павлович Карамазов, II. Первого сына спровадил, III. Второй брак и вторые дети, IV. Третий сын Алеша*) (Достоевский 1976, 14, 7–24). Именно в *Братьях Карамазовых* Достоевский интерпретирует тему детства в становлении человеческой личности как гетерогенную. Даже лексему «ребенок» следует признать для этого произведения, возможно, наиболее частотной. Писатель дает развернутое на весь текст видение онтологической сути понятия.

Особенно экспрессивное выражение авторская идея приобретает, когда Митя Карамазов в ожидании суда встречается с Алешей и в своей «дикой речи» (по авторской реплике) провозглашает себя «новым человеком». Он, сквозь бред души, осознает для себя, что смысл бытия заключается в самом бытии: «я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук – я есмь, в пытке корчусь – но есмь!» (Достоевский 1976, 15, 31). Но показательно, что это подлинное бытие он связывает теперь с воскресением в самом себе нового человека: «Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно!» (Достоевский 1976, 15, 30). Именно здесь концепция ребенка приобретает свою онтологическую выразительность: ребенок выступает жертвой мира, пораженного грехом. По

Ф. Достоевскому, ребенок обозначает качество духовного состояния, является целебной жертвой, изменяющей мир: «Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя!» (Достоевский 1976, 15, 31) – здесь в словах Мити прочитывается сквозная мысль автора.

Этот фрагмент раскрывает рецептивный потенциал центральной концепции романа: Митя сам превращается в ребенка, чтобы стать жертвой других родительских детей. Он сознательно берет на себя вину за убийство отца, «потому что, – как он открывает для себя – все за всех виноваты. За всех «дите», потому что есть малые дети и большие дети. Все – «дите». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю!» (Достоевский 1976, 15, 31). В цитируемом тексте самосознание достигает своего апогея, в нем проявляется главное: достойной, чистой жертвой может быть только тот человек, который либо сохранил, либо в состоянии восстановить в себе детскость. Добавим, что духовная история Мити может быть рассмотрена и в перспективе притчи о блудном сыне, который точно также «был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк.15:32).

Линия взаимоотношений родителей и детей в значительной мере и прежде занимала внимание писателя, акцентируясь на феномене дитяти. Скажем, обида на отца воспринимается основными героями Достоевского чрезвычайно болезненно, своеобразно влияя на детское мировосприятие, в соответствии с «накопленной суммой негодования» (Достоевский 1976, 15, 126). Парадоксально, но в текстах писателя дети активно встают на защиту родительской чести (напр.: Неточка Незванова, Соня Мармеладова, Аркадий Долгорукий, Илюшечка и ряд др.). Они не менее искренно отстаивают и честь матери. В этом проявляется сакрализация ребенком образа родителей. Таким образом, разрушение родительского идеала, этого, по своей сути, толчкового мифа человеческого мировоззрения, выступает одним из значимых признаков взросления, разрушения, умирания в человеке ребенка.

Всегда ли феномен ребенка выступает абсолютным позитивом, или в нем уже можно обнаружить некие зародыши зла? Это концептуальный вопрос. Он непременно возникает при попытке исследовать подобную проблему. Следует помнить, что для Достоевского,

как и для всех, воспитанных на христианском катехизисе, дети до семи лет пребывают в «ангельском чине». По Достоевскому, рай отождествляется с детством человечества, внутренний мир ребенка можно интерпретировать как находящийся в Эдеме. Настоящие дети напоминают нам о рае – «это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет наконец так же чист и простодушен, как дитя» (Достоевский 1975, 13, 286). Этот «ангельский» период в жизни человека является квинтэссенцией феномена ребенка. В развернутом виде этот тезис имеет место, в частности, в произведении *Сон смешного человека* – тут автор размещает утопический мир безгрешного, «детского» человечества на подобном земному, но другом небесном шаре. Тем не менее, писатель осознает несбыточность существования рая на земле, который возможен лишь в утопических сюжетах (скажем, в *Сне смешного человека* или в рассказе *Мальчик у Христа на елке*). Эсхатологически значимое вкушение «плода познания» обозначило конец детства человечества.

Итак, ребенок остается ребенком, пока не устремится к познанию добра и зла. Разрушение в человеке предыдущей, младенческой целостности существования происходит постепенно. Взрослые, по словам Ивана Карамазова, «съели яблоко и познали добро и зло и стали «яко бози». Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виноваты» (Достоевский 1976, 14, 216). И именно это перерождение чистого дитяти в грубую «смердючестъ» взрослого больше всего волнует Достоевского. Обобщающий смысл проступает в признании Неточки Незвановой:

Я уже рассказала первое пробуждение мое от младенческого сна, первое движение мое в жизни. Сердце мое было уязвлено с первого мгновения, и с непостижимой, утомляющей быстротой началось мое развитие. Я уже не могла довольствоваться одними внешними впечатлениями. Я начала думать, рассуждать, наблюдать... (Достоевский 1972, 2, 160).

Это состояние перерастания во «взрослость», потеря «ангельского чина» точно определяется самой девочкой как пробуждение сознания: «Но с той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя, я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно недетских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны» (Достоевский 1972, 2, 159). Еще недавно со всей детской наивностью и чистотой Неточка повторяла за отцом слова о прекрасной жизни, которая наступит со смертью ее матери, но вскоре ей становится понятна вся подлость

эгоистических ожиданий этого человека. Именно прозрение разрушает ее детский мир.

Сравним данный пример со словами Аркадия, сказанными в *Подростке* об отце: «Это правда, что появление этого человека в жизни моей, то есть на миг, еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание» (Достоевский 1975, 13, 62). Дублирование одной и той же сентенции свидетельствует об ее особой мировоззренческой значимости для писателя. В онтологическом смысле ключевая мысль прочитывается так: ребенок – существо целостное по своей сути и восприятию внешнего мира, разрушение его первоначальной внутренней целостности приводит к уничтожению чистоты восприятия окружающего мира, замены его устойчивой рефлексией взрослого.

Эту проблему можно вывести за скобки собственно художественных текстов Достоевского, поскольку даже в публицистике он активно пользуется той же парадигмой. Показательно, что характеристика известной литературной личности начинается у него выяснением условий, в которых протекало детство. Так, говоря о «мраке и унизости» «демонического» характера Н. Некрасова, Ф. Достоевский подчеркивает:

Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. Я думаю, – говорит писатель, – этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой (Достоевский 1984, 26, 122).

И, напротив, А. Пушкин определяется Достоевским через не разрушенную «детскую» целостность его творческой природы: «Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено во глубине души его» (Достоевский 1984, 26, 145).

Перерождение изначально целостной природы ребенка в амбивалентность извращенной человеческой природы взрослого раскрывается Ф. Достоевским, в частности, через широко известную на сегодня парадигму злоторной игры. По писателю, дети в играх обычно повторяют взрослые преступления (например, в *Подростке* – издевательства над Аркадием в пансионе Тушара, скопированные

с наставника (Достоевский 1975, 13, 98), или жестокость мальчиков в *Братьях Карамазовых* по отношению к Илюшечке, на самом деле позаимствованные от Мити). Детские игры превращаются в органическую часть жизни, уподобляемую жизни взрослых. Даже детское самоубийство здесь выглядит не осознанным шагом, а ужасающим продолжением игры (в *Подростке* не случайно изображаются три самоубийства, совершенные людьми на рубеже взросления). Однако Достоевский никогда не обращается к обыденным вариациям актуальных тем. В упомянутом случае заостренная смертью парадигма игры выразительно раскрывает и аргументирует онтологию ребенка⁸. Итак, в чем сущность «настоящего дитя» по Ф. Достоевскому? Это духовное существование не только вне сферы добра и зла, но даже стыда или обиды.

Освещение парадигмы «дитя» через понятия стыда и обидчивости, как это понимает русский классик, также требует особого внимания. Стыд является первым симптомом вхождения греха в человеческую душу. Чувство стыда и обиды не имеет ничего общего с детским миром. Наиболее отчетливо манифестируется это в образе «большого ребенка» Льва Мышкина, хотя и во всех других произведениях писателя читатель постоянно наталкивается на проявления состояния «бесстыдства» детской души, органической для нее незлопамятности. Например, несправедливо когда-то обиженное дитя в *Подростке* задумывается над своими тогдашними чувствами: «я был только удивлен, а не оскорблен; я еще не умел оскорбляться» (Достоевский 1975, 13, 97).

Счет хороших детских впечатлений ведется, по словам Алеши Карамазова, единицами. Авторская максима вложена в уста князя Сокольского из *Подростка*:

Покамест эти золотые головки, с кудрями и с невинностью, в первом детстве, порхают перед тобой и смотрят на тебя, с их светлым смехом и светлыми глазками, – то точно ангелы божии или прелестные птички; а потом... а потом случается, что лучше бы они и не выросли совсем! (Достоевский 1975, 13, 28).

Именно не различение добра и зла идеально соответствует райскому периоду, хотя впоследствии детский мир в столкновении с миром

⁸ В частности, интерпретации Достоевским танатологической темы развернуто рассматриваются Красильниковым (Красильников 2015).

взрослых разрушается и начинает себя соответственно позиционировать. История свидетельствует, что когда зло окружает ребенка отовсюду, то он очень легко может стать не только его жертвой, но и орудием. Вместе с тем, герои, сохраняющие детскую целостность, становятся трагически чуждыми окружающему миру (Алеша Карамазов, Лев Мышкин и даже Настасья Филипповна).

В дальнейшем феномен ребенка, по текстам Достоевского, в большей или меньшей степени ферментирует всю взрослую жизнь человека. В том числе это прочитывается и на уровне образной стилистики – скажем, на примере многочисленных знаковых эпитетов, таких как «детская улыбка», «детский взгляд» и другие (Михалков 1978). В конечном итоге, в старости, на противоположном от детства полюсе жизни человек может вернуться к себе, восстановить прежний «ангельский чин». Однако этот непреложный дар детства на склоне лет, чтобы снова его вернуть, требует тяжких духовных усилий. Из всех персонажей Достоевского наиболее ярко предстают в этом плане образы Макара Долгорукого из *Подростка* (предсмертную минуту которого Аркадий не случайно сравнивает с состоянием «младенца» (Достоевский 1975, 13, 305)), а затем старца Зосимы из *Братьев Карамазовых*. Полноценная зрелость проявляет себя именно тогда, когда человек максимально приближается к состоянию собственного детства. В наследии Достоевского существует множество и других образцов упрощенной до детского состояния старости (например, яркий образ Фомы Фомича из повести *Село Степанчиково и его обитатели*). Но и здесь, как полагает писатель, надо понимать, что обязательными условиями подобного «воскрешения» являются целостность и чистота мировосприятия. Далеко не каждому удается достичь, исходя из опыта своей жизни, идеального «младенческого» состояния.

Природа «детского состояния» весьма специфична. В частности, она стремится к «заполнению», и эта черта удовлетворяется через созерцание человеком внешнего мира. Важно, какой опыт входит в сознание ребенка прежде и больше всего. Здесь любая модель поведения может оказаться следствием определенной закономерности. Симптоматично рассуждение Алеши Карамазова о цене хороших детских воспоминаний: «...ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома» (Достоевский 1976, 15, 195). Даже одно-единственное

подобное воспоминание в дальнейшем может спасти человека от подвластности злу. Напротив, отсутствие таких воспоминаний, по Ф. Достоевскому, уничтожает личность. В первую очередь, воспоминания заполняются чрезвычайно сложными взаимоотношениями со взрослыми, ведь дитя – это тот «маленький человек», который рано или поздно сам обречен на взрослость.

Говоря о целостном мире ребенка, мы его нигде не дифференцируем по половому признаку: отнюдь не случайно «дитя» и определяется через средний род. Однако игнорировать вопрос о распаде личностной целостности в упомянутой, функционально чрезвычайно существенной плоскости не совсем справедливо. Гендерный срез проблемы, несомненно, восполняет постижение онтологического смысла феномена. Если у мальчиков детство испытывается рано проявляемыми физиологическими наблюдениями и влечениями (Маленький герой), то в отношении девочек все выглядит иначе: в тексты вплетен болезненный мотив растления (Настасья Филипповна, девочка – жертва Ставрогина, вторая жена Федора Карамазова и целый ряд других). Хотя у него отдельным девочкам-подросткам также не чужды тайные эротические переживания (Лиза Хохлакова). Закономерно, что мотив девичьей чести у Достоевского играет весьма значимую роль, любые ее оскорбления могут закончиться суицидом (ярким примером является Оля из *Подростка*). Однако ограничиться фиксацией подобных моментов, анализируя этот тематический пласт, не означает раскрыть его в онтологическом смысле, поскольку физиология здесь приобретает более глубокую мировоззренческую подоплеку, чем может показаться на поверхностный взгляд. Она является немаловажным фактором в прочтении парадигмы «дитяти», как ее представляет текст автора.

Итак, интерпретируя творчество Достоевского как художественную форму философского мировосприятия, автономизировав онтологически значимую парадигму «дитяти», мы даем ее описание через такие свойства, как целостность, природная чистота, не различимость категорий добра и зла, идеализация родителей и, вопреки этому, едва ли не радикальное противостояние миру взрослых.

Наконец, мы подходим к главному определению онтологической сущности феномена, вытекающему из его библейского понимания. Тут «дитя» становится мерой наивысшей причастности к миру Божественного: «И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот прини-

мает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня» (Мк.9:36–37).

Онтологический смысл «дитяти» у Ф. Достоевского также может быть раскрыт через универсальную библейскую метафору «зерна», которая для Святого письма является сквозной, генетически связанной с такими значимыми библейскими парадигмами, как «сеятель», «почва», «жатва», «плуг», «соль»: «и всякая жертва солью осолится» (Мк.9:49), «закваска», «хлеб небесный» (Лк.13:18–27; Ин.6:22–71), зависимых от «Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лк.10:2). Зерно подается в Библии как изначальная онтологическая мера: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» (Быт.1:11). Отсюда одно из самых ужасных ветхозаветных проклятий: «оскудеют у них семена от ржавчины и от града и от страшной звезды» (3Ездр.15:13).

Парадигма «дитяти-зерна» должна быть осознана через развертывание и реализацию этой первостепенной библейской семантики. Признаком зерна является его способность удерживать в себе Божье благословение на хранение онтологической памяти в ходе определенной родовой преемственности, вопреки тому, что некоторые этапы жизни зерна выглядят между собой как кардинальное отрицание: большая разница между чистым зерном, периодом его гниения (условной смерти) и превращением в новый росток, вызревающий к новым плодам – вспомним уже цитируемое «был мертвым и ожил». В Библии зерно неоднократно отождествляется с добрым сердцем, приносящим «плод в терпении» (Лк.8:4–18). В библейском понимании сердце выступает своеобразным «критерием» качества зерна, «ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека...» (Мф.15:19–20). В тот же ряд вписывается и следующая ассоциативная цепочка: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое...» (Лк.6:43–45).

Метафорика зерна содержит конструктивную двойственность смысла: в одном случае (в буквальном смысле) зерно ассоциируется с хлебом, в другом – оно истолковывается как семя царства Божьего. Прорастание зерна изначально осуществляется в тайне («...Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (Мк.4:26–29).

Метафора «зерна» не только раскрывает суть ребенка у Достоевского и по Достоевскому, она является фактором, в свете которого вырисовывается образное понимание этим писателем подлинной, здоровой, «сакраментальной» (эпитет самого автора) культурной традиции вызревания человека:

Если хотите всю мою мысль, то, по-моему, дети, настоящие то есть дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и *всходить* нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут (Достоевский 1981, 23, 96).

Отсюда дети – та пшеница и то ее зерно, которое в соответствии с природой собственного сердца обречено пройти свой человеческий путь через терпеливое страдание, обиды, слезы, отрицание своей детской личности (гниение), таинственно вызревая в почти иное, новое существо, способное давать новый плод.

Итак, что такое «небесные плоды» и как они проецируются на образ дитяти в прочтении Ф. Достоевского? Ответ также находим в Священном Писании: «И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какую притчею изобразим его? Оно – как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные» (Мк.4:30–32). В известной притче о Сеятеле в определении различных человеческих путей афористично перекрещиваются все уже упомянутые факторы: «а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лк.8:15). По существу, феномен ребенка выступает некоей предварительной, но обязательной (ферментной) доминантой завершённой, взрослой личности.

Рецептивным итогом такого анализа может быть прочтение неожиданного, на первый взгляд, завершения истории Алеши Карамазова. Этот чистосердечный в буквальном смысле плод карамазовской ветви соответствует таким образам идеального дитяти, как Макар Девушкин, князь Мышкин, «старое дитя» Макар Долгорукий... (этот ряд можно продолжить). Его унижает грязь «карамазовщины», он духовно устремлен к царству Божьему, мечтает о монашестве, но, в конце концов, именно его благословляет старец Зосима на супружескую жизнь. На первый взгляд, это какой-то парадокс, конструктивная нелогичность, очевидная ошибка писателя. Однако это абсолютно точный онтологический итог писательской рефлексии феномена дитяти: человеческое семя должно реализовываться по своему двойному предназначению. И на целый роман не нашлось ни одного человека, который бы отвечал статусу здорового зерна, кроме именно этого, идеального христианского юноши.

ЛИТЕРАТУРА:

- Бахтин Михаил: *Проблемы поэтики Достоевского*, в: *Собрание сочинений* в 7 томах, том 6. Москва 2002.
- Волгин Игорь: *Последний год Достоевского*. Москва 1991.
- Гатицкий А. П.: *Социальный аспект темы детства в раннем творчестве Ф. М. Достоевского*, в: *Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс*. Воронеж 1978, с. 56–63.
- Гржибкова Радка: *Детская символика в творчестве Ф. М. Достоевского*, „Русский язык за рубежом“ 2000, № 1, с. 100–104.
- Гржибкова Радка: *Символика детских жестов и мимики в творчестве Ф. М. Достоевского*, в: *«Летние чтения в Даровом»*. Материалы международной научной конференции 27–29 августа 2006 г. Составитель В. А. Викторovich. Коломна 2006, с. 29–33.
- Достоевский Федор: *Полное собрание сочинений* в 30 т. Ленинград 1972–1990.
- Исупов Константин: *Метафизика Достоевского*. Санкт-Петербург 2016.
- Карякин Юрий: *Достоевский: «всё – «дитё»*», „Наука и религия“ 1971, № 10, с. 45–51.
- Карякин Юрий: *Достоевский и канун XXI века*. Москва 1989.
- Касаткина Татьяна: *«Бедные люди» и «злые дети» (Достоевский – наследник творческого метода Пушкина)*, „Достоевский и мировая культура“. Альманах. Москва- Санкт-Петербург 2003, № 20, с. 99–104.
- Красильников Роман: *Танатологические мотивы в художественной литературе (Введение в литературоведческую танатологию)*. Москва 2015.

- Кустовская Марина: «Живая жизнь» Ф. М. Достоевского в свете евангельской заповеди «будьте как дети», „Вопросы русской литературы“ 2007, № 14(71), с. 102–112.
- Левитов Н.: *Дети в произведениях Ф. М. Достоевского*, „Семья и школа“ 1956, № 3, с. 11–13.
- Лощиц Ю.: «Я возьму отцов и детей...» (К 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского), „Детская литература“ 1971, № 11, с. 37–40.
- Ляпина Алина: *Тема «случайного семейства» и «оскорбленного детства» в публицистике Ф. М. Достоевского*, „Вестник Омского университета“ 2012, № 3(65), с. 195–197.
- Миллер Орест: *Дети в сочинениях Ф. М. Достоевского*, в: *Русские писатели после Гоголя. Чтения, речи и статьи*, том 1. И. С. Тургенев – Ф. М. Достоевский. Санкт-Петербург; Москва 1886.
- Михалков Сергей: *Литература, время, жизнь*. Москва 1978.
- Михнюкевич Вячеслав: «Евангелия детства» и поэтика детских образов Ф. М. Достоевского, в: «Педагогия» Ф. М. Достоевского. Коломна 2003, с. 242–247.
- Михнюкевич Вячеслав: *Поэтика детских образов Ф. М. Достоевского в контексте «народного христианства»*, „Вестник Челябинского университета“. Серия 2, Филология, 1994, № 1, с. 21–28.
- Одесский М., Спивак М.: „Учи Федю читать...“. *Достоевский о детском чтении*, „Детская литература“ 1991, № 11, с. 54–57.
- Павлова Ирина: *Детский вопрос в постановке М. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. М. Достоевского*, „Вестник Московского государственного областного университета“. Серия: Русская филология, 2011, № 3, с. 125–129.
- Парышева Ирина: *Мотивы детства и наставничества в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»*, „Русская словесность“ 2010, № 3, с. 23–27.
- Парышева Ирина: *Образы детей и «детскости» в творчестве Ф. М. Достоевского: (от «Бедных людей» к «Идиоту»)», в: *Сравнительное и общее литературоведение*. Москва 2008, Вып. 2, с. 96–104.*
- Перевезенцев К.: *Принцип изображения детства у Достоевского*, „Актуальные проблемы современного литературоведения“. Москва 2001, Вып. 5, с. 105–115.
- Погорельцева А. В.: *Проблема детства в творчестве Ф. М. Достоевского*, „Советская педагогика“ 1991, № 12, с. 111–115.
- Подорога Валерий: *Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы*, том 1., Н. Гоголь, Ф. Достоевский. Москва 2006.
- Пользинский Петр: *Детский мир в произведениях Достоевского: опыт психологического разбора детских типов Достоевского в связи с его суждениями о воспитании*. Ревель 1891.
- Пушкарева Вера: *Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русской литературы второй половины XIX века*. Белгород 1998.

- Пушкарева Вера: *«Детские» эпизоды в художественных произведениях и публицистике Достоевского*, в: *Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов. Сборник научных трудов*. Ленинград 1974, с. 41–55.
- Пушкарева Вера: *Сочетание «детской» и «взрослой» точек зрения в оформлении художественного целого (Из наблюдений над поэтикой Достоевского)*, в: *Литературное произведение как целое и проблемы его анализа*. Кемерово 1979, с. 170–179.
- Романенко А.: *Талант действительной жизни (Достоевский и дети)*, „Детская литература“ 1970, № 2, с. 49–52.
- Сараскина Людмила: *Достоевский в созвучиях и притяжениях (от Пушкина до Солженицына)*. Москва 2006.
- Сартр Жан-Поль: *Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии*. Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. Москва 2000.
- Серденко Ираида: *Виды и функции воспоминаний о детстве в произведениях Ф. М. Достоевского*, „Вестник Томского государственного педагогического университета“. Томск 2007, Вып. 8, с. 7–11.
- Степанова Татьяна: *Тема детства в творчестве Достоевского*, „Вестник Московского университета“. Сер. 9. Филология, 1988, № 4, с. 88–93.
- Степанова Татьяна: *Художественно-философская концепция детства в творчестве Достоевского*. Автореф. дис. ... к. ф. н. Москва 1989.
- Тарасов Борис: *«Будущее человечество...» (Особенности изображения детства в творчестве Ф. Достоевского)*, „Литературная учеба“ 1983, № 3, с. 170–179.
- Темирханова Гюльнара: *Художественно-философская концепция детства в творчестве Ф. М. Достоевского*, „Литературное обозрение: история и современность“ 2011, № 1, с. 63–68.
- Тихомиров Борис: *Дети в Новом Завете глазами Достоевского*, „Достоевский и мировая культура“. Альманах. Санкт-Петербург 2003, № 19, с. 135–156.
- Фокин Павел: *Грибоедовские фантазии Аркадия Долгорукого (Поэтика детства у Достоевского и ее реализация в романе «Подросток»)*, в: *Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: возможности прочтения*. Сборник статей. Коломна 2003, с. 198–209.
- Шестакова Елена: *Тема детства в творчестве Ф. М. Достоевского*, в: *Гуманитарные науки в России XXI века: тенденции и перспективы*. Архангельск 2008, с. 215–220.
- Янтарева Р. А.: *Детские типы в произведениях Достоевского*. Санкт-Петербург 1895.
- Semionova Svetlana: *Vaikystė F. Dostojevskio meniniame pasaulyje*. Magistro darbas [Детство в художественном мире Ф. М. Достоевского]. Vilnius 2006.